

166290

166290



V.N. Karazin Kharkiv National University



00167095

6



Spring  
Landing

g(c) 1914-1917 "05" B

МОРИС ПАЛЕОЛОГ  
Бывший французский посол

# ЦАРСКАЯ РОССИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО  
Д. ПРОТОПОПОВА и Ф. ГЕ  
ПРЕДИСЛОВИЕ  
М. ПАВЛОВИЧА



ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ  
БИБЛИОТЕКА АН СССР  
Инв. № 166990

И. Г. Гинзбург

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА — 1923 г. — ПЕТРОГРАД

Проверено  
ЦИНБ 1939



34p

Петрооблит № 3127.      Гиз № 4742.      Тираж 16.500.

Военная Типография Штаба Р.-К. К. А. (пл. Урицкого, 10).



## Предисловие к русскому изданию.

Первый том мемуаров французского посла в Петрограде Мориса Палеолога в своей основной части, если не говорить о некоторых позднейших фальсификаторских вставках, отмеченных нами в предисловии к указанному тому, был написан в первый период, охватывающий события от 20 июля дня прибытия в Петроград президента Французской республики, до 31 декабря 1915 года.

То было время, когда царизм чувствовал себя еще всемогущим в России, когда, связанный с французским правительством и французской биржей финансовой цепью и всякого рода военными конвенциями и договорными отношениями, он мог безнаказанно расточать русские военные ресурсы не в интересах обороны самой России, а исключительно в интересах защиты подступов к Парижу и Вердену, согласно приказам французского командования, распоряжавшегося русской армией, как армией какого-нибудь Сенегала.

То было время, когда те немногие русские генералы, которые ясно видели, что армия русская идет к полному разгрому, что весь план ее боевых действий построен сообразно с обстановкой на французском, а отнюдь не на русском театре войны, не осмеливались высказывать своего мнения, когда французский посол чувствовал себя полным хозяином в России и мог обращаться к главнокомандующему всех русских армий, великому князю Николаю Николаевичу, со словами, равносильными боевому приказу: „Через сколько дней, милостивый государь (monsieur), вы перейдете в наступление“, мог говорить в таком тоне, не считая для себя даже нужным, сообразно с этикетом, назвать великого князя его титулом „ваше высочество“, как бы для того, чтобы подчеркнуть этим, что, здесь начальние,



представитель Французской республики, говорит с своим подчиненным, дядей русского царя, правителем французской колонии, играющей роль поставщика пушечного мяса для современного Карфагена.

Тяжелые поражения, понесенные русской армией в результате неудачного наступления на Восточную Пруссию, предпринятого в целях спасения Парижа в августовские дни 1914 года; дальнейшие неудачи, вызванные не в малой мере постоянным вмешательством французского командования в военные операции на русском фронте, заставившим Россию отказаться от единственно целесообразного плана военных действий, дававшего шансы в борьбе с Германией \*); с другой стороны, неудачи англо-франко-бельгийской армии на западном фронте и ее, справедливо вызывавшие усмешки русских генералов, продвижения, в результате успехов, „на пятьдесят метров“, наряду с гигантскими военными операциями русских армий \*\*); ничтожная помощь союзников России в снабжении оружием, вместе с беспощадной эксплуатацией русского „пушечного мяса“; рост недовольства войной в широких слоях населения России, усталость от войны, разруха и пр.—все это постепенно действовало на изменение отношений правящих кругов России и высшего военного командования к союзникам. Вместе с тем простой инстинкт самосохранения, смутное предчувствие надвигающейся грозы, заставляли многих приближенных царя задумываться над роковыми последствиями авантюры, в которую втянулась Россия. Таким образом, с одной стороны в верхах начинает зреть мысль о необходимости выхода России из союза и заключения сепаратного мира, с другой—высшее русское командование начинает обнаруживать тенденцию не следовать уже слепо французской указке и вести по возможности самостоятельную линию.

\*) Подробнее об этом плане см. нашу работу: „Советская Россия и капиталистическая Франция“.

\*\*) Конечно, с точки зрения Палеолога, русские как бы сознательно преуменьшали значение военного содействия Франции. „Несмотря на все наши усилия,—жалуется он,—путем газет, докладов кинематографических лент, доказать интенсивность борьбы на западном фронте, ее недооценивают“.



В это время особое влияние на план военных действий на русском театре приобретает новый начальник штаба генерал Алексеев, старавшийся, — до октябрьской революции, после которой он, из ненависти к новому строю, продался Англии и Франции — действовать исключительно как „начальник генерального штаба высшего командования русских войск“ (что ставит ему в упрек Палеолог). Алексеев делал попытки сообразоваться прежде всего с обстановкой на русском театре военных действий, а не на французском, салоническом или румынском, как этого хотелось Палеологу, настаивавшему на полной ломке всего плана, выработанного русским генеральным штабом под влиянием тяжелых уроков войны.

В течение этого периода, описанного во 2-й части мемуаров Палеолога, тон французского посла по отношению к русскому правительству и русскому командованию значительно изменяется. Назначение председателем совета министров Штюрмера, которого считали тайным сторонником сепаратного мира с Германией, отставка генерала Поливанова, с другой стороны — нарастающее возмущение народных масс против войны, революционное брожение, проникающее, как констатирует в своих донесениях Палеолог, даже в ряды армии, — все это сбивает спесь с французского посла и заставляет его уже не приказывать или требовать, а настойчиво просить, убеждать и пускать в ход, для приведения в осуществление того или иного плана французского командования по отношению к русской армии, те или другие средства, в которых не было нужды в первый период.

В течение всего этого периода главная задача Палеолога в военном отношении заключалась в том, чтобы побудить русское командование: во-первых — снять с фронта около пяти корпусов, целую армию в 150.000 или 200.000 человек, для переброски на Румынский фронт, во-вторых — переправить во Францию, согласно чудовищному плану французского командования, 400.000 русских рабов для ударных действий, подобно сенегальским неграм, на французской территории.

Для личного воздействия на царя и Алексева в принятии этого проекта, превращавшего Россию в неприкрытую



военную колонию Франции, резервуар ее пушечного мяса, был направлен в Россию „социалист“ Вивiani; на Палеолога же была возложена задача облегчить осуществление этого плана и следить за его выполнением, согласно достигнутым результатам. Ему надо было неустанно внушать русскому правительству и высшему командованию, что судьбы войны и результаты мира будут зависеть прежде всего от решения на французском театре военных действий, что поэтому русским генералам необходимо отрешиться от „эгоистических задних мыслей“, от исключительной заботы о своих собственных операциях, и проникнуться более высоким пониманием союза и, в случае советов французского командования, послать хотя бы пять или шесть корпусов в Молдавию или Валахию, не бояться обнажить русский фронт, памятуя, что только при таком согласованном действии с союзниками Россия будет вполне награждена за все свои жертвы, когда Германия окажется вынужденной согласиться на все условия, которые заставят ее подписать союзники.

Итак, в то время, когда на всем русском фронте было всего 1.200.000 ружей, когда на протяжении от Пинска до Карпат русским войскам приходилось сражаться с 29 немецкими, 40 австрийскими и 2 турецкими дивизиями, когда малейшее ослабление фронта грозило прорывом и перспективой неприятельского наступления в рижском направлении—Жоффр требовал немедленной отправки 200.000 армии в Добруджу и Палеолог энергично поддерживал точку зрения Жоффра перед Штюмером, доказывая ему, что дело идет о всей политике союза и о самом исходе войны.

Еще более возмутительный характер носило требование послать во Францию 400.000 русских солдат для образования из них ударных корпусов. Французское командование настаивало на этом требовании, так как сенегальские дивизии были почти уничтожены и необходимо было заменить их соответствующим материалом. По мнению французских генералов и „социалистов“ вроде Вивiani, никто лучше русских солдат не подходил к этой роли.

Надо прибавить к этому, о чем умалчивает Палеолог, что русско-французские военные конвенции совершенно не предусматривали отправку русских войск во Францию в



случае войны. Что же касается румынского фронта, русско-румынская военная конвенция, подписанная 4 (17) августа 1916 года, обязывала Россию (статья третья) „послать во время мобилизации румынской армии в Добруджу две пехотные дивизии и одну кавалерийскую для совместных действий с румынской армией против болгарской армии“.

Следовательно, Россия обязана была отправить на румынский фронт всего три дивизии, а от нее требовали отправки целых пяти или, даже, шести корпусов. Алексеев боролся и против посылки войск во Францию, и против отправки целой армии на румынский фронт.

Надо отдать справедливость генералу Алексееву в том, что он старался поставить не только Палеолога, но и Вивiani на свое место и намекал им на нежелательность их вмешательства в военные вопросы. Когда Вивiani вручил Алексееву письмо Жоффра и на словах передал просьбу последнего о начале русского наступления не позже 10-го июля, генерал Алексеев ответил очень кратко: „Я Вам очень благодарен; я буду обсуждать этот вопрос с генералом Жоффром через генерала Жилинского“. Однако, усилия Алексеева обеспечить самостоятельность русской армии не привели к более или менее существенным результатам.

Представителя русского высшего командования при французской главной квартире, генерала Жилинского, Жоффр третировал, попросту, как своего подчиненного. Палеолог умалчивает о том, что когда генерал Жилинский, оскорбленный начальническим тоном Жоффра по отношению к нему, осмелился заявить, что он не французский генерал, а представитель русского императора, Жоффр потребовал от царского правительства немедленного отзыва Жилинского, и это требование было исполнено.

Не имея снарядов, винтовок, тяжелой артиллерии, царская Россия находилась в зависимости от своих союзников, и последние старались выжать „всю кровь из многомиллионной страны“. Это было тем более необходимо для союзников, что снабжать особенно щедро русскую армию оружием они не имели желания, предполагая, очевидно, что в России достаточно пушечного мяса, и что когда цивилизованная и высоко культурная Франция теряет одного человека на поле сражения, дикая Россия может потерять де-



сать без ущерба для „цивилизации“. Никто лучше не характеризует точку зрения французских ростовщиков и кровопийц на эту сторону вопрос, чем рассуждения Палеолога на эту тему.

Палеолог неоднократно говорит о той помощи оружием, которую союзники оказывали России. Но он ни разу не упоминает о том, сколько золота и по какой грабительской цене взяли у нас бескорыстные союзники за доставку нам оружия и снарядов (см. об этом подробно у Минковского „Боевое снабжение русской армии в войну 1914—1918 г.“, часть 1-я, стр. 19—23). Равным образом не говорится о том количестве никуда негодных винтовок и пушек, которые доставляли России ее союзники. Секретная телеграмма военного министра Керенского от 20 июля 1917 года за № 285 начиналась следующими словами:

„Укажите соответствующим послам, что тяжелая артиллерия, присланная их правительствами, видимо в значительной части из брака, так как 35% не выдержали двух-дневной умеренной стрельбы“ \*).

Итак, более трети доставленных России при Керенском орудий не выдерживали и двухдневной стрельбы. Так было и при царизме. Многие орудия приходили в негодность после недельной или двухнедельной стрельбы. И тем не менее союзники вели за собой царскую Россию и Россию Милокова, Керенского и Чернова, как ручного медведя на цепи.

Как ни отбояривалось высшее русское командование от участия в операциях в Добрудже, однако, уже в сентябре 1916 года пришлось снять с русского фронта целых четыре дивизии и отправить их за Дунай. Но это было только начало. Далее, как отрицательно ни относилось наше командование к посылке во Францию русских солдат, где и без того находились английские, бельгийские, португальские войска и т. д., пришлось сверх бригады, уже отправленной 15 июля в Салоники, послать еще пять бригад по 10.000 человек. Какая трагическая участь постигла наших солдат

---

\*) См. „Сборник секретных документов из Архива бывш. Министерства Иностр. Дел, № 3, стр. 113—114. Издание Народного Комис. Иностр. Дел.



во Франции, где их хотели превратить в ударные части, на манер сенегальских дивизий, как взбунтовались наши солдаты против третирования их, как пушечного мяса, проданного французской бирже, какие ужасающие репрессии были применены по отношению к русским рабам, это хорошо всем нам известно, но об этом, конечно, Палеолог не заикается ни одним словом в своих мемуарах \*).

Представитель „великой французской демократии“, официальный посол III Республики при царском правительстве, Палеолог являет собой тип самого ярого черносотенца, роялиста до мозга костей, ненавидящего и презирующего все русское оппозиционное движение, стремившееся к ограничению русского самодержавия. Палеолог ярко рисует в своих мемуарах всю гниль царизма, и тем не менее, он всеми силами защищает царизм, убеждает Милюкова, Гучкова, Родзянко и прочих лидеров октябризма и кадетской партии не трогать царизма, этой основы России, „внутренней и незаменимой брони русского общества“. А когда русская армия отказывается защищать царя и, наоборот, решительно восстает против старого режима, Палеолог не находит слов для выражения своего возмущения поведением войск, особенно гвардейских полков, изменивших своей присяге и верности, не вставших на защиту „священных особ“ царя и царицы, и сравнивает позорный образ действия русской гвардии с доблестным поведением наемных швейцарцев, которые перед падением королевской власти во Франции геройски защищали короля и стреляли в народ. Так пишет представитель третьей Республики. Такого черносотенца французское правительство делегировало в Россию, для официального представительства Франции. С особенной ненавистью относился Палеолог к русским рабочим. Крайне интересно разоблачение, которое делает Палеолог относительно одной из задач миссии Альберта Тома в России. Оказывается, Альберт Тома убеждал Штюмера милитаризовать русских рабочих. „Милитаризовать наших рабочих!“ — восклицает Штюмер. —

---

\*) О русских солдатах во Франции см., между прочим, „Сборник секретных документов из Архива бывшего Министерства Иностранных Дел № 1, стр. 14, 15, 16, 17, 18, 19.



„Да в таком случае вся Дума поднялась бы против нас“. Так рассуждали летом 1916 года самый яркий представитель социализма и представитель русского самодержавия“, —комментирует Палеолог беседу между Альбертом Тома и Штюрмером.

Палеолог старается в своих мемуарах подчеркнуть глубокое знание русского общества, русских обычаев, русской литературы, русского народа и т. д. Он кокетничает своим знанием Толстого, Достоевского, Тургенева, пишет о русском театре, искусстве и т. п., но в сущности он ничего не понимал в русской действительности. Насколько этот „знаток“ России был недалек от тупа, видно из его попыток убедить Гучкова и Родзянко не трогать царизма, в крайности — переменить царя, но не посягать на самый институт монархизма. Как будто от Гучкова, Родзянко и Милюкова зависел ход событий в России! Тем не менее мемуары Палеолога представляют крайне ценный материал для характеристики как отношений французского правительства к России, так и той атмосферы, которая царила при дворе, в наших высших кругах и на верхах армии в эпоху мировой войны. Ясно обрисована в мемуарах Палеолога роль Вивьани, Альберта Тома, Думера и других представителей Франции в России; здесь читатель найдет много новых данных.

Мы подчеркнули выше, что в период фактического командования всеми русскими армиями генерала Алексея и при министерстве Штюрмера Палеолог вынужден был смягчить свой тон французского резидента в подвластной Франции колонии и держал себя довольно осторожно. Но как только царизм пал и власть перешла в руки временного правительства, представитель Франции совершенно распоясался. Мемуары Палеолога вполне разоблачают ту позорную унижительную роль, которую в качестве министра России играл Милюков, державшийся по отношению к французскому представителю не как министр независимой страны, а как министр марокканского султана или тунисского бей... Палеолог в самом наглom тоне барина по отношению к своему лакею говорит с Милюковым... „Я не могу допустить никакой двусмысленности насчет вашей решимости сохранить ваши союзы и продолжать войну“, распекает Палео-



лог Милюкова. „Мне нужна не надежда, мне нужна уверенность“. Палеолог заявляет о своем возмущении выражениями декларации Временного правительства от 20 марта 1917 года: „Не заявлена даже решимость продолжать борьбу до конца, до полной победы. Германия даже не названа. ...Ни малейшего намека на прусский милитаризм. Ни малейшей ссылки на наши цели войны“... кричит Палеолог на Милюкова. Милюков держит себя смущенно. „Милюков слушал меня бледный и смущенный“ (стр. 380). В конце концов Милюков смиренно просит французского посла дать ему время, обещая все поправить. Ни в чем отсутствие уважения к своей собственной стране и раболепие лидеров кадетской партии по отношению к иностранному правительству не выразилось так ярко, как в этом позорном поведении Милюкова перед черносотенным представителем Франции.

Само собой разумеется, что Палеологу не хотелось потерять таких верных лакеев, каких он имел в лице Милюкова и К°. Уже по этому одному он доказывал необходимость поддержки Милюкова и умеренного Временного правительства против Керенского. Наоборот, английский посол Бьюкенен и Альберт Тома высказывались за Керенского. Из политики Бьюкенена некоторые легкомысленные наблюдатели делали вывод, будто империалистическая Англия сочувствовала вначале февральской революции, а затем керенинине, и была противницей царизма. На самом деле эта точка зрения ни на чем не основана. Великобритания не желала для России другого режима, кроме гнилого царизма, ослаблявшего могучую 150-миллионную страну, угрожавшую английским владениям на всем Востоке. Но когда в процессе мировой войны обнаружилось, что царизм подорвал военную мощь России, а между тем в данный момент помощь России была крайне необходима для победы над Германией, и вместе с тем стало ясно, что крушение царизма близко, Бьюкенен стал заигрывать с кадетами и поддерживать Милюкова и К°. Вся разница между Бьюкененом и Палеологом лишь в том, что Бьюкенен раньше стал на путь поддержки кадетов, а Палеолог позже, хотя французский посол и был в душе ярым черносотенцем и монархистом.



Когда Бьюкенен заметил, что Милюков и его партия потеряли всякое влияние на ход событий в России, что они совершенно бесполезны для Англии в качестве орудия для борьбы с Германией, естественно, что Бьюкенен стал поддерживать Керенского, как политического деятеля, который, имея влияние на армию, может бросить сотни тысяч русских солдат против немцев и помочь разгрому Германии. Если бы большевики провозгласили на другой день после Октябрьской Революции „лозунг войны до конца“ с Германией, Бьюкенен поддерживал бы и их, сказав себе и другим: „Раньше всего надо закончить задачу, поставленную перед нами мировой войной, а потом мы сумеем силой заставить большевиков отказаться от их программы и введем в России режим, какой нам по душе“.

В душе Бьюкенен глубоко презирал Керенского, но считал последнего самым подходящим для данного момента орудием в целях осуществления планов английского империализма. Милюков же рассматривался Бьюкененом, как выжатый лимон, который можно выбросить. На этой же точке зрения стоял и Альберт Тома.

И само собой разумеется, что по отношению к Керенскому Бьюкенен оказался гораздо более дальновидным, чем Палеолог. Зная, что союзники снабжают русскую армию бракованными пушками и нигде негодным оружием, Керенский тем не менее из кожи лез вон, чтобы оправдать доверие высоких покровителей России, английского и французского правительств, и погубил сотни тысяч русских солдат в угоду хищнической Антанте, раз'езжая по всему русскому фронту, произнося воинственные речи, которые с глубоким удовлетворением цитировала вся французская и английская пресса, и побуждая наших генералов к бессмысленным и осужденным на неудачу наступлениям против немецких позиций. Кто следил в эпоху керенщины за английской, французской и бельгийской прессой, тот знает, что в период мировой войны ни великий князь Николай Николаевич, ни генералы Рузский и Алексеев, ни Милюков не удостоились и одной сотой доли восторженных похвал, выпавших на долю Керенского, в котором союзники долгое время видели самого верного лакея Антанты, самого горячего и преданного сторонника войны до последней капли



крови с Германией. Не даром Керенский, пока его влияние в русском правительстве было сильно, являлся буквально кумиром во всех парижских и лондонских салонах. Его портреты украшали кабинеты многих патриотически настроенных светских дам и дам полусвета, на ряду с портретами Жоффра, Китченера и Фоша.

Но, увы, скоро рабоче-крестьянские массы России и вся русская армия под влиянием большевистской пропаганды раскусили Керенского. Русский народ отказался далее играть роль пушечного мяса в интересах иностранных капиталистов и кучки русских помещиков и фабрикантов, которым продался Керенский.

Союзники в лице Франции проявили по отношению к Керенскому самую черную неблагодарность. Когда Керенский, после своего позорного бегства в результате неудачного похода во главе казачьего отряда на Петроград, эмигрировал во Францию и явился к Клемансо, последний принял его крайне сурово и, по намекам некоторых органов французской прессы, попросту выгнал бывшего русского премьера. Несомненно, этот лакей заслуживал лучшего приема от своего барина, но что требовать от такого циника, как Клемансо?

Во втором томе мемуаров мы читаем следующие любопытные строки: „Надо в самом деле признаться, что война не имеет больше цели для русского народа. Константинополь, святая София, Золотой Рог? Но никто не думал об этой химере, кроме Милюкова, и то единственно потому, что он историк“.

Разве союзники в самом деле имели в виду подарить России Константинополь, разве Англия отдала бы эту важную позицию России? Ведь Константинополь надо было еще взять, и ясно, что при заключении мира прежде всего вошел бы в Дарданеллы английский флот, как оно и случилось в действительности.

В заключение надо сказать, что в некоторых вопросах Палеолог обнаружил большую дальновидность. Так, он считал самым страшным врагом Антанты Ленина, о котором он не один раз упоминает в своих мемуарах.

В своих мемуарах от 18 апреля 1917 года Палеолог заносит следующие строки: „Милюков говорит мне сегодня



---

утром с сияющим видом:—Ленин вчера совершенно провалился в Совете. Он защищает тезисы пацифизма с такой резкостью, с такой бесцеремонностью, с такой бестактностью, что вынужден был замолчать и уйти освиштаным... Уже он теперь не оправится.

Я ему отвечаю на русский манер:—Дай бог.

Но я боюсь, что Милюков лишний раз окажется жертвой своего оптимизма. В самом деле, приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому может подвергнуться русская Революция“.

Под датой 21 апреля Палеолог снова возвращается к Ленину:

„Когда Милюков недавно уверял меня, что Ленин безнадежно дискредитировал себя перед Советом своим необузданным пораженчеством, он лишний раз был жертвой оптимистических иллюзий. Авторитет Ленина, кажется, наоборот, очень вырос в последнее время. Что не подлежит сомнению, так это то, что он собрал вокруг себя и под своим начальством всех сумасбродов революции; он уже теперь оказывается опасным вождем“.

При всей своей тенденциозности, подчистках и т. д., мемуары Палеолога представляют редкий по ценности материал для характеристики как франко-русских отношений в эпоху мировой войны, так и верхов русского общества в их отношениях к Франции и к войне. Вместе с тем мемуары французского посла проливают новый луч света как на роль в России Альберта Тома, Вивиани и др., так и на политику внутреннюю и внешнюю г-д Родзянко, князя Львова, Гучкова, Милюкова и К-о. Русскому историку, изучающему эпоху мировой войны, придется не раз пересмотреть книгу Палеолога.

*Мих. Павлович.*



## I. Отступление сербской армии.

*Суббота, 1 января 1916 г.*

Сербский посол Спалайкович был у меня сегодня; у него измученное лицо; глаза лихорадочно блестят и полны слез. Совершенно обессиленный, он падает в кресло, которое я ему предлагаю.

— Вы знаете, — говорит он, — чем кончилось наше отступление? Вы слышали подробности? Это ведь было сплошное мученичество. Я получил сегодня утром известия о трагическом отступлении сербской армии через снежные Албанские горы; армия шла без пищи, без крова, под снежными бурями, измученная страданиями, изнуренная усталостью, усеивая путь трупами. И когда, наконец, она достигла Сан-Джиованни ди-Медуа на Адриатическом море, то здесь ее настигли голод и тиф.

По карте, которую я разворачиваю перед ним, он показывает мне путь, пройденный этой гибельной „геджрой“.

— Посмотрите, мы снова прошли все этапы нашей истории... Отступление началось от Белграда, где Петр Карагеоргиевич заставил турок признать его владыкой Сербии в 1806 г. Затем от Крагуеваца, резиденции князя Милоша Обреновича, в первые годы сербской



самостоятельности; потом Ниш, этот оплот христианства при великом короле Стефане, который в XII веке освободил Сербию от византийского владычества; дальше Кружевац, столица царя-мученика Лазаря Бранковича, обезглавленного в 1389 г. на поле битвы под Косовым, на глазах у умиравшего султана Мурата; затем Краниево, где в XIII в. св. Саввой была основана автокефальная сербская церковь; потом Рашка, колыбель сербского народа и древняя вотчина Немани; дальше Искюб, где знаменитый Душан венчался в 1346 г. „царем и самодержцем сербов, греков, айданцев и болгар“; вот Ипек, патриархат которого в долгие годы турецкого ига был прибежищем национального самосознания; одним словом, все святые места сербского патриотизма.

Спалайкович прибавляет:

— Подумайте, что это было за отступление; не забудьте тысячи беженцев, следовавших за армией. Подумайте, что это было!

И голосом, прерывающимся от волнения, он рассказывает мне, как престарелый король Петр, больной при смерти, не захотел оставить своих войск и следовал за ними на повозке, запряженной быками; старика воеводу Путника, тоже больного при смерти, несли на носилках; за ними шли длинные ряды монахов, несших на руках церковные святыни; они шли день и ночь по снегу, со свечами в руках и с пением молитв.

— Но ведь это эпопея,—говорю я—это из средневековых *chansons de geste*.



*Вторник, 4 января.*

Праздник георгиевских кавалеров дал императору повод еще раз подтвердить свою решимость продолжать войну; он обратился к армии с воззванием, которое оканчивается так:

„Будьте твердо уверены, что, как я уже сказал в начале войны, я не заключу мира, пока последний враг не будет изгнан из нашей земли. Я заключу мир лишь в согласии с союзниками, с которыми мы связаны не только договором, но и узами истинной дружбы и кровного родства. Да хранит вас бог“.

Это самый лучший ответ на предложение о мире со стороны Германии, переданное через посредничество герцога Гессенского и графа Эйленбурга.

*Четверг, 6 января.*

По словам моего информатора, у которого есть связи с охранным отделением, вожди социалистических групп тайно собрались недели две тому назад в Петрограде (раньше они собирались в июле прошлого года); на этом совещании председательствовал трудовик Керенский. Главным вопросом являлось обсуждение программы революционных действий, которую „максималист“ Ленин, эмигрант, живущий в Швейцарии, недавно защищал на социалистическом интернациональном конгрессе в Циммервальде.

Прения, открытые Керенским, повидимому, привели к единогласному принятию следующих положений: 1) Постоянные неудачи русской армии, беспорядок и нерадивость в управлении, ужасающие легенды об императрице, наконец, скандальное поведение Распутина окончательно уронили царскую власть в глазах

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ  
СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
166290



народа. 2) Народ очень против войны, причины и цели которой он более не понимает. Запасные все неохотнее идут на фронт; таким образом, боевое значение армии все слабеет. С другой стороны, экономические затруднения растут с каждым днем. 3) Поэтому очень вероятно, что в ближайшем будущем России придется выйти из союза и заключить сепаратный мир. Тем хуже для союзников. 4) Если мир этот будет заключать царское правительство, то он будет, конечно, миром реакционным и монархическим. А во что бы то ни стало нужно, чтобы мир был демократический, социалистический. Керенский резюмировал, будто бы, прения таким практическим выводом: „Когда наступит последний час войны, мы должны будем свергнуть царизм, взять власть в свои руки и установить социалистическую диктатуру“.

*Пятница, 7 января.*

Упорные бои с большими потерями у Чарторыйска, близ Пинских болот. Все атаки русских отбиты.

Дальше к югу, в Западной Галиции, против Черновиц, австрийцы немного ослабели.

Полковник Нарышкин, адъютант императора, видящий его ежедневно, говорит мне:

„Его величество очень огорчен поражением сербской армии; он беспрестанно спрашивает известий об агонии этой несчастной армии“.

*Суббота, 8 января.*

Благодаря влиянию Распутина и его клики, нравственный авторитет русского духовенства падает с каждым днем.

Одним из недавних событий, особенно оскорбивших чувства верующих, было столкновение между архиепи-



---

скопом Варнавой и святейшим синодом, имевшее место прошлой осенью по поводу причтения к лику святых архиепископа Иоанна Тобольского.

Еще два года тому назад Варнава был просто невежественный и разгульный монах, но Распутин, с которым они вместе росли в Покровском, вздумал его сделать архиереем. Это назначение, против которого упорно боролся синод, открыло эру крупных церковных скандалов.

Едва достигнув столь высокого сана, Варнава задумал устроить в своей епархии центр для паломников, что было бы полезно для церкви и выгодно для него самого. За чудесами дело не стало бы, а приток богомольцев повлек бы за собой и приток даяний. Распутин сразу почуял, какие блестящие результаты могло бы дать это благочестивое предприятие. Но он решил, что необходимо обрести мощи какого-нибудь нового святого; еще лучше было бы — мощи специально канонизированного святого; он заметил, что новые святые особенно любят проявлять свои чудотворные силы, а старые и прославленные уже не находят в этом никакого удовольствия. Такие новые мощи как раз оказались под рукой: это был архиепископ Иоанн Максимович, в бозе почивший в Тобольске в 1715 г. Варнава тотчас начал дело о сопричтении его к лику святых; но синод, зная подкладку этого предприятия, приказал отерочить исполнение этого ходатайства. Варнаву это не остановило, и он, собственной властью, нарушая все церковные правила, объявил о канонизации архиепископа Иоанна; затем он испросил непосредственно согласие государя, что является необходимым при всякой канонизации. Император снова уступил императрице и Распутину:



---

он собственноручно подписал телеграмму Варнаве с высочайшим согласием.

В святейшем синоде клика Распутина ликовала. Но большинство членов синода решили не допускать такого грубого нарушения церковных правил. Обер-прокурор Самарин, человек честный и смелый, который, по настоянию московского дворянства, сменил презренного Саблера, поддерживал всеми силами протестующих членов синода. Не обращаясь к императору, он вызвал из Тобольска Варнаву и предписал ему отменить свое постановление. Архиепископ дерзко и решительно отказался это сделать: „Все, что скажет или будет думать святейший синод, мне совершенно безразлично. Мне достаточно телеграммы с согласием императора“. Тогда, по инициативе Самарина, синод постановил отрешить Варнаву от должности и заточить в монастырь, как нарушителя церковных правил. Но на это нужно было высочайшее утверждение. Самарин твердо решил убедить императора; он пустил в ход все свое красноречие, всю энергию, всю преданность. Николай II выслушал его с недовольным видом и сказал: „Телеграмма моя архиепископу действительно была, быть может, не совсем корректна. Но что сделано, то сделано. И я сумею заставить всякого уважать мою волю“.

Через неделю обер-прокурора Самарина заменил низкопоклонный и ничтожный, но близкий к Распутину Александр Волжин. Вскоре председатель синода, митрополит Владимир, который во время конфликта держался очень достойно, должен был уступить высшую духовную должность в Империи креатуре Распутина, архиепископу владикавказскому Питириму.



*Воскресенье, 9 января.*

Одним из признаков того, что постоянно занимает мысль русских людей, является страсть их литераторов к описаниям жизни в тюрьме, на каторге, в ссылке. Тема эта встречается у всех писателей; каждый считает себя обязанным написать что-нибудь, касающееся тюрьмы или сибирской каторги.

Начало положил Достоевский, излагая свои личные воспоминания в книге, которая, по моему, является лучшим его произведением, в „Записках из Мертвого Дома“. Толстой в „Воскресении“ подробно рисует пред нами с своим беспощадным реализмом тюрьму и ссылку с материальной, административной и нравственной стороны; Короленко, Горький, Чехов, Вересаев, Дымов и др. также делают свои вклады в этот музей ужасов; картины разворачиваются на фоне Петропавловской крепости, Шлиссельбурга, гиблых мест Туруханска и Якутска, холодных берегов Сахалина. Вероятно, многие русские читатели этих рассказов думают про себя: „Может быть, и я туда когда-нибудь попаду“.

*Вторник, 11 января.*

Несмотря на сильные морозы и трудность сообщений, русские войска в Галиции полны инициативы и подема.

Князь Станислав Радзивилл, недавно приехавший из тех мест, рассказывал мне, что взятый на той неделе в плен немецкий офицер, услышав, что он говорит по-польски, шепнул ему на ухо тоже по-польски:

„Немцам пришел конец. Держитесь! Да здравствует Польша“!



*Среда, 12 января.*

Английские и французские войска благополучно окончили эвакуацию галлипольского полуострова.

Неудача полная, но катастрофы избежали.

Турки отныне направят свои удары на Месопотамию, Армению и Македонию.

*Четверг, 13 января.*

Следуя своим принципам и своему строю, царизм вынужден быть безгрешным, никогда не ошибающимся и совершенным. Никакому другому правительству не нужны в такой степени интеллигентность, честность, мудрость, дух порядка, предвидение, талант; дело в том, что вне царского строя, т. е. вне его административной олигархии, ничего нет: ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно установленных партий, ни социальных группировок, никакой легальной или бытовой организации общественной воли.

Поэтому если при этом строе случается ошибка, то ее замечают слишком поздно и некому ее исправить.

*Пятница, 14 января.*

Император, по случаю русского Нового Года, обратился к армии со следующими словами:

„Доблестные воины мои, шлю вам накануне 1916 года мои поздравления. Сердцем и помышлениями я с вами, в боях и в окопах... Помните: наша возлюбленная Россия не может утвердить своей независимости и своих прав без решительной победы над врагом. Проникнитесь мыслью, что не может быть мира без победы. Каких бы усилий и жертв эта победа нам ни стоила, мы должны ее добыть нашей родине“.



*23 гущисе*

*Суббота, 15 января.*

Третьего дня австрийцы заняли Цетинье: черногорцы очень любезно сдали им этот город.

Генерал Б., сообщивший мне эту новость, заметил: „Вот отступление, от которого пахнет изменой“.

*Воскресенье, 16 января.*

Оставление Галлиполи английскими и французскими войсками оказывает подавляющее действие на русское общественное мнение. Со всех сторон я слышу одно: „Ну, теперь вопрос решен—нам никогда не видать Константинополя... Из-за чего же дальше воевать“?...

*Среда, 19 января.*

Дело снабжения русской армии ружьями, благодаря настойчивости генерала Алексева, заметно улучшается. Вот цифры ружейных запасов:

1. Ружей в деле, на фронтах—1.200.000;
2. Ружей, разгруженных в Архангельске,—155.700;
3. Ружей, разгруженных в Александровске,—530.000;
4. Ружей, готовых к отправке из Англии,—113.100.

Доставка в Белом море производится при помощи ледоколов, с громадными трудностями. В районе Александровска организован на широкую ногу транспорт на оленях. А от Мурманска до Петрозаводска не меньше 1000 килом. пути.

До конца апреля ожидают прибытия 850.000 ружей, как максимального количества.

К несчастью, русская армия в Галиции понесла недавно ужасные потери: 60.000 человек. Под одним Чарторыйском 11.500 чел., ослепленные снежной вьюгой, были в несколько минут скошены немецкой артиллерией.



*Пятница, 21 января.*

На бессарабском фронте, на северо-восток от Черновиц, русские предприняли новое и упорное наступление, благодаря чему им удалось захватить целый сектор австрийских позиций. Этот результат очень дорого обошелся русским: 70.000 убитых и раненых и 5.000 попавших в плен. К сожалению, русское общественное мнение стало гораздо более чувствительным к потерям, чем к успехам.

*Понедельник, 24 января.*

Постоянные увертки Братиано ставят Румынию в опасное положение. Германские государства уже начинают принимать по отношению к ней угрожающий тон.

Русский посол в Бухаресте, Поклевский, стал настаивать, чтобы Братиано открыл свои карты. Тогда Братиано ему ответил: „Я колеблюсь между двумя решениями. Либо тон немецких и австро-венгерских агентов свидетельствует только о дурном настроении духа их правительств, вызванном вопросом о румынской пшенице. Если это так, то мне легко будет дать Германии и Австро-Венгрии какое-нибудь удовлетворение. Либо этот тон есть прелюдия ультиматума, который потребует, например, немедленной демобилизации нашей армии. В таком случае, я надеюсь оставаться хозяином нашего общественного мнения и я отвергну ультиматум“.

„Если вы предвидите последний исход“, ответил Поклевский, „то ваш главный штаб должен был бы немедленно вступить в сношения с нашим главным штабом. Нельзя терять ни одного дня“.



---

Братиано согласился с этим и сказал: „Скорое прибытие русской армии в устья Дуная нам было бы необходимо, чтобы иметь защиту против нападения болгар на Добруджу“.

Сазонов, передавший эти подробности, попросил ген. Алексеева незамедлительно заняться этим вопросом.

Задняя мысль Братиано совершенно ясна. Он хотел бы возложить на Россию задачу задержки болгар, чтобы быть в состоянии направить весь удар румынской армии на Трансильванию, на этот предмет национальных вождельний Румынии.

Но сможет ли русский главный штаб снова сконцентрировать армию в Бессарабии? Я в этом сомневаюсь, судя по телефонному разговору, который происходил между Сазоновым и военным министром еще до упомянутой беседы Сазонова со мной. Ген. Поливанов не думает, чтобы можно было снять с фронта армию в 150.000 или в 200.000 чел, чтобы перебросить ее в Молдавию; у буковинской и галицийских армий очень трудная задача; нельзя допустить их отвода назад, на 600 километров от их нынешней базы.

*Среда, 25 января.*

Я позвал сегодня к завтраку румынского посланника, Диаманди, и снова указал ему на опасность того двусмысленного образа действия, который так по душе его приятелю Братиано:

— Неужели Братиано не понимает, что его политика может привести к самым печальным неудачам? Имея дело с русскими, нельзя быть достаточно определенными, предвидящими, точными. Вся ваша политика мне кажется чистым безумием, так как я вижу, что вы теперь, несмотря на грозящий ультиматум со



стороны Германии, даже не пытались заключить военной конвенции с русским главным штабом.

— Вы знаете, что Братиано очень не доверяет русским. Он оттягивает вступление с ними в обязательные сношения до последнего часа. Он хочет сам определить наступление этого часа.

— Но разве в нынешнем громадном, стихийном кризисе кто-нибудь вообще может распоряжаться каким-либо часом?.. И неужели вы думаете, что можно, в последнюю минуту, импровизировать план кампании, продовольственную базу, наскоро наладить транспорт?.. Недоверчивое отношение Братиано к русским правильно лишь в одном отношении — русские, действительно, неспособны к организации. Но из этого только тот вывод, что следует возможно заблаговременно выработать практическую программу сотрудничества и втайне готовить его осуществление. Куда бы ни двинуть русские войска, в Молдавию или в Добруджу, одна задача их продовольствования является вопросом громадной трудности; на это понадобились бы, может быть, целые месяцы. Не забывайте, что у русских и румынских жел. дорог колеи разные и что их смычка ограничивается веткой на Унгени; линия Кишинев — Рени доходит только до Дунайской дельты. Пока это проблема не будет разрешена, пока не будет установлена линия русско-румынского сотрудничества, до тех пор Румыния будет предоставлена своим силам и будет, я боюсь, открыта для вторжения врага.

Диаманди, довольно смущенный, ответил:

— Да, положение может стать критическим — имея 500.000 чел. войска, мы не можем оборонять сразу линию в 500 километров по Дунаю и линию в 700 километров по Карпатам. Поэтому нам непременно нужно



---

русское прикрытие со стороны Добруджи, против наступления со стороны болгар.

— Я не знаю, какое решение примет высшее русское командование, но я слышал от ген. Поливанова, что, при нынешнем состоянии железных дорог, продовольствование русской армии, расположенной на юг от Дуная, является, повидимому, невыполнимой задачей.

В течение нескольких дней, немцы ведут усиленные атаки в Двинском районе. Русские им дают хороший отпор и иногда даже имеют успех.

*Среда, 26 января.*

Когда я размышляю о всем, что в русском социальном и политическом строе есть архаического, отсталого, примитивного и себя пережившего, я часто говорю себе: „Такой же была бы и Европа, если бы у нас, в свое время, не было возрождения, реформации и французской революции!“

*Четверг, 27 января.*

Ген. Алексеев рассмотрел различные способы, которыми Россия располагает для поддержки Румынии. Он пришел, при этом, к следующим выводам:

1. Можно было бы выделить армию в десять дивизий для поддержки Румынии.

2. Расстояние, трудность транспорта, состояние румынских железных дорог—все это препятствует отправке этой армии на Дунай, именно в область, наиболее угрожаемую со стороны болгар—на юг от Бухареста.

3. Эта вспомогательная армия должна бы быть сконцентрирована в Сев. Молдавии, являясь, таким образом, угрозой правому флангу австро-германской



армии. Эту концентрацию можно было бы произвести достаточно быстро.

4. Немедленно можно было бы предпринять наступление в сев.-восточном направлении, в связи с операциями, начатыми на главном фронте.

5. Благодаря этому, румынская армия могла бы напрячь все свои силы для отражения болгарского наступления с юга и для прикрытия границы со стороны Трансильвании.

6. Офицер румынского главного штаба должен быть немедленно командирован в ставку для переговоров об основах военной конвенции.

*Пятница, 28 января.*

Фердинанд Кобургский, царь болгарский, превзошел себя в низости. *Qualis artifex* (какой лицедей)!

Десять дней тому назад Вильгельм посетил Ниш: Фердинанд устроил там в его честь блестящий завтрак. Конечно, встреча была торжественная и выбор Ниша, „города, где родился Константин Великий“, подчеркивал историческое значение этой встречи. Для меня поэтому неудивительно, что Фердинанд, столь чувствительный к престижу прошлого и к историческим инсценировкам, дал полный выход своему болезненному тщеславию.

Но почему же монарх, который, как я сам от него слышал, так гордился тем, что он внук Людовика-Филиппа, что он прямой потомок Людовика Святого, Генриха IV и Людовика XIV, не смог исполнить, вполне добросовестно и до конца, своего политического и национального долга, не прибегая к оскорблению той страны, откуда он происходит?

Вот начало его тоста:



„Государь,

Сегодняшний день имеет великое историческое значение: двести пятнадцать лет тому назад, Фридрих I, ваш великий предок, властной рукой возложил на свою голову королевскую корону Пруссии. 18 января 1871 г., при вашем прадеде, зародилась новая германская империя. Вильгельм Великий обновил в Версале императорскую германскую славу. Ныне, 18 января 1916 г., его прославленный внук, твердая решимость которого одолела все препятствия, посещает северо-западную часть Балканского полуострова и вступает, стезею побед, в древний римский лагерь Нисса“ и т. д.

Что сказала бы мать Фердинанда, принцесса Клементина, его дядя, Жуанвиль, д'Омаль, Монпансье, если бы они слышали его, вспоминающего, в присутствии германского императора, самое тягостное из всех исторических переживаний Франции, — провозглашение в Версале германской империи,—и упивающегося таким выступлением в то время, как враг занимает французскую землю, а германская армия стоит в 80 верстах от Парижа?!

По части измен и отступничества, Фердинанд меня ничем удивить не может. Поэтому это оскорбление по адресу Франции меня и не поражает. Но меня несколько смущает произнесение им имени Версаля. Я думал, что отсутствие достоинства и совести в нем компенсируются наличностью некоторого художественного вкуса. А никто, как он, вероятно, лучше не испытал всей прелести Версаля. В каждый свой приезд во Францию, он подолгу там жил. Более двадцати раз говорил он со мной о Версале, обнаруживая преклонение столь же интеллигентное, сколь и восторженное, и верное понимание красоты и поэтичности Версаля!



---

Забываясь, вероятно, о мнении грядущих составителей анналов и эпитафий, болгарский монарх окончил свой тост латинской фразой в лапидарном стиле:

„Привет тебе, император, цезарь и король, победитель, славой венчанный. Из древнего Наисса (Ниша), тебя приветствуют все народы Востока, тебя, избавителя, угнетенным несущего благоденствие и спасение. Многие лета!“

Раз Фердинанд уже теперь заботится о подготовке материалов для памятника себе и для своей славы, то я не могу скрывать от его биографов некоторых документов, которые проливают яркий свет на его высокие душевные качества. Мы видели, каким рыцарем он выступает, когда ему везет счастье; сейчас увидим, на какую высоту бесстрашия, благородства и великодушия он может подниматься в несчастье.

Дело было летом 1913. Вторая балканская война, вызванная безумным честолюбием Кобургского принца, кончилась страшным поражением. Потеряв все плоды прежних побед, болгарская армия делала чудеса, чтобы спасти, по крайней мере, национальную независимость. Вся энергия нации напрягалась из последних сил в борьбе с катастрофой, столь же губительной, сколь неожиданной. Какое же было, в этот грозный и великий час, настроение болгарского царя? Конечно, сердце его билось так же, как сердце его народа, столь же сильно, интенсивно, но ровно... Увы, только не знающий его мог бы это предполагать!

Документы, мною вскользь упомянутые, им подписанные, рисуют Фердинанда, в то время обезумевшего от страха, раздавленного бременем своей ответственности, дрожащего за свою жизнь, перелагающего тяжесть им сделанных ошибок на болгарских государственных



деятелей, на генералов, на дипломатов, на всех тех, кто не были в состоянии постигнуть его великих замыслов: мы видим его, внезапно решающегося на бегство, „тайком укладывающего чемоданы, чтобы скрыться в свои любезные Карпаты“; видим его, изрыгающего весь запас злобы и трусости, имеющейся в его напыщенной и испорченной душе. И в то же время эти отвратительные документы написаны пером художника. Его стиль, агрессивная и оскорбительная буйность его образов напоминают Шекспира и Сан-Симона; но вообще все эти его писания вызывают величайшее отвращение...

Но, кто знает, не будет ли последнее слово, которое будущее произнесет о Фердинанде Кобургском, выражением жалости к нему. Он теперь торжествует. Но каков будет его конец? Вместе с меланхолическим героем шекспировского „Как вам угодно“, я скажу: „Какова-то будет последняя сцена, которая закончит эту странную повесть, столь богатую событиями“?

*Воскресенье, 30 января.*

Армия Николая Николаевича творит чудеса в Сев. Армении. Среди хаоса крутых и обледенелых гор она гонит пред собой турок и быстро приближается к Эрзеруму.

*Понедельник, 31 января.*

Никогда ни в какой стране не была раньше так задавлена свобода слова, как в России; и сейчас дело обстоит так же. За последние 20 лет, правда, немного смягчились суровые полицейские меры по отношению к печати. Но сохранилась традиция беспощадной жестокости по отношению к ораторской трибуне, к до-



кладам и обсуждениям. Со своей точки зрения, русская полиция права: русские несравненно больше поддаются действию живого слова, чем печати. Это потому, что прежде всего русский народ отличается впечатлительностью и легко увлекается образами: русским непременно нужно слышать и видеть тех, кто к ним обращается. Затем  $\frac{9}{10}$  населения не умеет читать. Кроме того, долгие зимние вечера и участие в мирских сходках приучили, в течение веков, русского крестьянина к словесным упражнениям. Пять—семь месяцев в году, смотря по области, в России нельзя работать в поле. Крестьяне отсиживают долгую зиму в тесных избах и прерывают свою спячку только для того, чтобы бесконечно рассуждать <sup>1)</sup>. Мирские сходки, где производят переделы земли и пастбищ, где определяют пользование реками, прудами и т. д., дают крестьянину частые поводы упражняться в словесных выступлениях. Этим объясняется громадное значение, которое имели ораторы из крестьян во всех русских аграрных восстаниях. Так было и при Пугачеве, и во время длинного ряда местных бунтов, которые предшествовали освобождению крестьян от крепостной зависимости. В более трагической форме проявилась эта черта во время движений 1905 года. Снова будут иметь место те же явления—это уже потому, что русские сельские массы стремятся сомкнуться с социалистическим и революционным пролетариатом.

---

<sup>1)</sup> А кто зимой извозничает? Кто зимой валит и вывозит деревья? Кто охотится и ловит рыбу? Кто, не разгибаясь, работает в кустарной свечелке? Все тот же „мужик“.

*Примечание переводчика,*



---

*Среда, 1 февраля.*

Русских часто упрекают в отсутствии предусмотрительности. Действительно, им постоянно приходится бывать захваченными врасплох последствиями их собственных поступков, запутываться в тупиках, больно ушибаться о жесткую логику событий. И в то же время нельзя сказать про русских, чтобы они были беззаботны относительно будущего; думать о нем — они много думают, но не умеют его предвидеть, потому что они его не видят. Воображение русских так устроено, что оно им никогда отчетливо не рисует самых очертаний. Русский видит впереди только далекие убегающие горизонты, туманные, смутные дали. Понимание реальности в настоящем и грядущем доступно русским лишь при помощи грез. И в этом я вижу следствие климата и географических условий. Разве можно, едучи по степи в снежную погоду, не сбиваться беспрестанно с дороги, когда зги перед собой не видеть?

*Четверг, 2 февраля.*

Отставлен по болезни председатель совета министров Горемыкин. Заменен Борисом Владимировичем Штюмером, членом Гос. Совета, церемониймейстером двора, бывшим ярославским губернатором и прочая, и прочая.

Горемыкин действительно устарел (ему 87 лет), и если у него еще сохранились наблюдательность, критическая способность, осторожность, то у него совсем не хватало воли к управлению и активности. Он, конечно, не мог бы выступать в Гос. Думе, созыв которой близок и которая хотела повести поход именно против Горемыкина за его реакционную политику.



А, пожалуй, сожалел бы об уходе этого скептического и лукавого старика. В глубине души он, вероятно, не очень-то сочувствовал государственному строю союзников; не нравились ему близкие и продолжительные сношения России с демократическими государствами Запада. Судя по тем тонким вопросам, которые он мне порой задавал,—делая вид, что он их не задает,—я полагаю, что он не преувеличивал ни сил России, ни изнурения наших врагов, ни вероятных плодов победы. Но он не делал практических выводов из своего настроения к Антанте, и я никогда не слышал, чтобы он в чем-либо мешал лойяльной деятельности министра иностранных дел.

Поэтому мне сегодня утром показалось, что Сазонов, не ладивший с Горемыкиным по вопросам внутренней политики, был очень недоволен его отставкой. Банально и чисто-официально похвалив Штюмерера, он подчеркнул русское основное положение, согласно которому руководство внешней политикой поручается министру иностранных дел и только ему. Несколько сухим тоном он так резюмировал свое мнение:

— Министр иностранных дел обязан докладом одному государю; дипломатические вопросы никогда не обсуждаются в совете министров; председателя совета они совершенно не касаются.

А улыбнулся и спросил его:

— Так зачем же вы заседаете в совете министров?

— Чтобы там высказываться по вопросам компетенции совета, к каковым относятся дела, общие несколькими министерствам, и дела, которые государь специально передает на суждение совета; но к этим вопросам не принадлежат дела военные и дипломатические.



---

Стараюсь выведать от него более подробные сведения о Штюмере, но он переводит разговор, показывая мне телеграмму, которую он сегодня утром получил из Букареста.

— Братиано—говорит он,—заявил, что удовлетворен сообщением, которое ему, от имени ген. Алексеева, сделал Поклевский. Братиано видит в этом подходящую основу для начатия переговоров. Но он не согласен на командировку румынского офицера в ставку, боясь, что Германия об этом проведает. Он хочет начать переговоры в Букаресте, с нашим военным аташе. В сущности, Братиано хочет лично вести переговоры. Боюсь только, как бы это не было для него способом затянуть дело!

*Четверг, 3 февраля.*

Вслед за увольнением председателя совета министров Горемыкина, та же участь постигла и министра внутренних дел, А. Н. Хвостова. Обе должности унаследовал Штюмер.

Отставка Хвостова дело рук Распутина. В течение некоторого времени между этими двумя лицами шла борьба не на живот, а на смерть. По этому поводу по городу ходят самые странные, самые фантастические слухи. Говорят, будто Хвостов хотел убить Гришку через преданного ему агента, Бориса Ржевского; Хвостов при этом действовал в союзе с прежним приятелем Распутина, ставшим затем его злейшим врагом, с монахом Иллиодором, живущим теперь в Христиании. Но директор департамента полиции Белецкий, креатура Распутина, напал на след заговора и донес непосредственно императору. Отсюда внезапная отставка Хвостова.



---

*Суббота, 5 февраля.*

Три дня всюду собирал сведения о новом председателе совета министров. То, что я узнал, меня не радует.

Штюмеру 67 лет. Человек он ниже среднего уровня. Ума небольшого; мелочен; души низкой; честности подозрительной; никакого государственного опыта и никакого делового размаха. В то же время с хитрецей и умеет лстить.

Происхождения он немецкого, как видно по фамилии. Он внучатый племянник того барона Штюмера, который был комиссаром австрийского правительства по наблюдению за Наполеоном на острове св. Елены.

Ни личные качества Штюмера, ни его прошлая административная карьера, ни его социальное положение не предназначали его для высокой роли, ныне выпавшей ему. Все удивляются этому назначению. Но оно становится понятным, если допустить, что он должен быть лишь чужим орудием; тогда его ничтожество и раболепность окажутся очень кстати. Назначение Штюмера дело рук камарильи при императрице; за него пред императором хлопотал Распутин, с которым Штюмер близко сошелся. Недурное будущее все это нам готовит!

*Воскресенье, 6 февраля.*

Полковник Татаринов, военный аташе в Бухаресте, завтра уезжает из Петрограда к месту службы.

Совещание с начальником главного штаба и с министром иностранных дел дают ему возможность точно ознакомить румынский главный штаб с мерами, которые Россия может предпринять для помощи Румынии.



---

Что касается заключения военной конвенции, акта, прежде всего, правительственного, то нужно, чтобы Братиано определенно высказался о готовности вступить в переговоры о конвенции, что ему и предлагал Сазонов.

Но до сих пор румынский посол, этот официальный и естественный выразитель мнений своего правительства, не получал никаких инструкций. На вопрос Сазонова о намерениях Братиано, он должен был ответить:

„Мне о них ровно ничего неизвестно“...

*Понедельник, 7 февраля.*

Штюрмер назначил управляющим своей канцелярией Манасевича-Мануйлсва. Назначение скандальное и знаменательное.

Я немного знаком с Мануйловым, что приводит в отчаяние честного Сазонова. Но могу ли я не знать с главным информатором „Нового Времени“, этой самой влиятельной газеты? Но я его знал и до моего назначения посланником. Я с ним виделся около 1900 года в Париже, где он работал как агент охранного отделения, под руководством Рачковского, известного начальника русской полиции во Франции.

Мануйлов—субъект интересный. Он еврей по происхождению; ум у него быстрый и изворотливый; он любитель широко пожить, жуир и ценитель художественных вещей; совести у него ни следа. Он в одно время и шпион, и сыщик, и пройдоха, и жулик, и шулер, и подделыватель, и развратник—странная смесь Панурга, Жиль Блаза, Казановы, Робера Макэра и Видока. „А вообще,—милейший человек“.

В последнее время он принимал участие в подвигах охранного отделения; у этого прирожденного пирата



есть страсть к приключениям и нет недостатка в мужестве. В январе 1905 г. он, вместе с Гапоном, был одним из главных инициаторов рабочей демонстрации, использованной властями для кровавой расправы на Дворцовой площади. Несколько месяцев спустя, он оказался одним из подготовителей погромов, пронесшихся над еврейскими кварталами Киева, Александровска и Одессы. Он же, как говорят, брался в 1906 г. за организацию убийства Гапона, болтовня которого становилась неудобной для охранного отделения. Сколько, действительно, у этого человека прав на доверие Штюрмера!..

*Вторник, 8 февраля.*

Мануйлов сегодня явился ко мне с визитом. Затают в прекрасно спитый сюртук; голова напoмажена; осанка внушительная. Лицо этого прохвоста светится ликованием и важностью. Принимаю его со всем почетом, довлеющим его новому званию.

Он говорит со мною о своей новой роли при Штюрмере. Перечисляет свои полномочия, чтобы дать мне почувствовать их значение, которое, и без того, очень велико. Приняв важный вид, он изрекает такой афоризм:

— В самодержавном государстве со 180 миллионами населения, управляющий канцелярией председателя совета министров, и в то же время министра внутренних дел, совершенно естественно является значительной фигурой.

— Совершенно естественно!

Затем он пускается в восторженные похвалы своего начальника.

Штюрмер человек высокого ума: в нем есть качества крупного государственного человека; на сто



---

голов выше ставлю я его против разных Горемыкиных и Сазоновых; он восстановит традиции Нессельроде и Горчаковых. Будьте уверены, что он оставит имя в истории.

Не желая казаться совсем в дураках, я замечаю:

— Что касается оставления следа в истории, то на это есть, ведь много разных способов.

— Ах! Способ Штюмера будет хороший... Вы в этом не станете сомневаться, когда ближе познакомитесь с ним. И это будет вскоре, так как Штюмер с нетерпением хочет вступить в сношения с вашим превосходительством; он надеется, что эти сношения станут совершенно сердечными и тесными. Нужно ли говорить, как этого желаю я?

Окончив эти излияния, он встает. Провожая его до двери и тут вдруг воскресает предо мною тот Мануйлов, которого я знал раньше. Он останавливается и говорит мне вполголоса:

— Если вам, чтонибудь только понадобится, дайте мне знать. У Штюмера ко мне доверие полное, никогда он ни в чем мне не откажет... Итак, я к вашим услугам!

Долго не забуду выражение его глаз в эту минуту, его взгляда, в то же время и увертливого, и жестокого, и циничного, и хитрого. Я видел пред собою олицетворение всей мерзости охранного отделения.

*Среда, 9 февраля.*

Вот точное изложение таинственных событий, приведших к опале министра внутренних дел Хвостова. Печальный бросают они свет на состояние низов нынешнего режима.



Назначение в октябре 1915 г. Хвостова министром внутренних дел было императору не подсказано Распутиным и Вырубовой, а прямо навязано. В этом деле крупную роль сыграл мошенник высшего полета, некий князь Мих. Андронников; это приспешник старца, его обычный прихвостень, главный исполнитель его поручений. Назначение Хвостова было, таким образом, победой камарилы при императрице.

Но вскоре возгорелся личный конфликт между новым министром и его товарищем, пройдохой Белецким, директором департамента полиции. В этом мире низких интриг, завистливого соревнования, тайной вражды, недоверие бывает взаимным, а вражда—постоянным явлением. Поэтому Хвостов вскоре оказался на ножах со всей шайкой, которая его же провела к власти. Почувствовав, что дело его плохо, он тайно повернул фронт. А так как его честолюбие соткано из цинизма, дерзости и тщеславия, то он сразу решил создать себе громкую славу избавлением России от Распутина.

Он проведал, что Илиодор, из поклонников „старца“ ставший его смертельным врагом, живет в изгнании в Христиании, где он написал книгу, полную скандальных разоблачений об его отношениях со двором и с Гришкой. Хвостов решил достать эту рукопись, в которой он полагал найти талисман, при помощи которого можно было бы заставить императора прогнать Распутина и даже, быть может, удалить от себя императрицу. Естественно не доверяя подчиненной ему официальной полиции, он решил послать в Христианию своего личного агента Бориса Ржевского, темного литератора, не раз приговоренного судом. Пока Ржевский готовился к поездке в Норвегию через Финляндию, его жена, в отместку за его жестокое обращение,



донесла Распутину о замысле; „старец“ немедленно обратился к своему другу Белецкому. Это—прирожденный полицейский, очень находчивый и ловкий человек, без всяких правил, руководящийся только служебными соображениями, способный на что угодно, только бы сохранить царское к себе благоволение. Быстрый на решения, он немедленно решил поставить западню своему министру. Сделать это надо было тонко. Белецкий поручил дело одному из своих лучших исполнителей, жандармскому полковнику Тюфяеву, служившему на ст. Белоостров. Ржевский, доехав до этой станции, устремился в буфет. Тюфяев загородил ему дорогу, затем сделал вид, будто Ржевский его толкнул, потерял как будто равновесие и, что есть мочи, наступил Ржевскому на ногу. Тот вскрикнул от боли. Тюфяев притворно принял его крик за дерзость по своему адресу. Два заранее поставленные жандарма схватили Ржевского и повели его в станционное жандармское управление. У него потребовали паспорт; его обыскали; он сперва ссылаясь на то, что он едет по поручению министра внутренних дел, по делу, известному только министру. Жандармерия делала вид, что ему не верит; его прижали к стенке строгим допросом—как это умеют делать в охранном отделении. Ему небо с овчинку показалось; он перетрусил, но вскоре догадался, чего от него хотят—он признался, что получил от Хвостова поручение организовать, вместе с Илиодором, убийство Распутина. Был составлен протокол его допроса и доставлен директору департамента полиции, который его немедленно представил в Царское Село. На следующий день Хвостов был урочен.



*Четверг, 10 февраля.*

Проезжая около четырех часов по Литейному, я заглянул в антикварную торговлю Соловьева. Я стал рассматривать, в глубине безлюдного магазина, прекрасные французские издания XVIII века. В это время входит стройная дама лет тридцати и садится за столик, на который для нее кладут папку с гравюрами.

Она прелестна. Ее туалет свидетельствует о простом, индивидуальном и утонченном вкусе. Из-под растегнутой шениловой шубки видно платье из серебристо-серого шелка, отделанное кружевами. Шапочка светлого меха очень идет к ее пепельным волосам. Выражение лица гордое и чистое; черты прелестны; глаза бархатистые. На шее, при свете зажженной люстры, сверкает ожерелье из чудного жемчуга. С большим вниманием разглядывает она каждую гравюру; иногда она от напряжения мигает и приближает лицо к гравюре. По временам она наклоняется направо, где около нее поставлена табуретка с другой папкой гравюр. Малейшее ее движение отдает медленной, волнистой, нежащей грацией...

Выйдя на улицу, вижу за своим автомобилем другую элегантную машину. Мой выездной, который все знает, спрашивает меня:

— Ваше превосходительство, вы не узнаете эту даму?

— Нет. Кто это?

— Графиня Брасова, супруга его высочества великого князя Михаила Александровича.

Я еще ни разу не встречал ее до войны—она жила за границей, а затем почти всегда в Гатчине.

Ее романические приключения, наделавшие много скандала, свойства довольно заурядного. Ее девичья



фамилия была Шереметевская. Дочь московского адвоката и польки, Наталия Сергеевна вышла в 1902 г. замуж за московского купца Мамонтова. Через три года она с ним развелась и вышла замуж за гвардейского ротмистра Вульферта. Полком синих кирасир, где служил ее новый муж, командовал великий князь Михаил Александрович, брат государя. Она немедленно стала его любовницей, всецело закладывая им; с тех пор он стал послушным орудием ее замыслов.

Михаил был человек в высшей степени слабый в смысле воли и ума. Но в то же время он был сама доброта и скромность и очень привязчив. Несколько лет перед тем он увлекся фрейлиной своей сестры, великой княгини Ольги Александровны, г-жей Косиковской, которой он легко вскружил голову обещанием жениться. Но когда он сообщил об этом матери, которой он очень боялся, она подняла шум, упрекала его, делала сцены. Так из этой идиллии ничего и не вышло.

Г-жа Вульферт, особа интеллигентная, ловкая и энергичная, повела дело необычайно искусно. Прежде всего, она развелась с Вульфертом. Потом она родила. Тогда великий князь объявил о своем решении вступить с ней в брак, несмотря на крайнее недовольство государя. В мае 1913 г. любовники поселились в Берхтесгадене, на границе Верхней Баварии и Тироля. В одно прекрасное утро они выехали в Вену, куда раньше отправился их доверенный. В Вене была православная церковь, устроенная сербским правительством для своих подданных. Настоятель этой церкви за тысячу крон наскоро тайно обвенчал высокую чету.

Извещенный об этом браке, Николай страшно прогневался. Он издал торжественный манифест, лишавший своего брата права условного регентства, которое он



---

ему даровал по случаю рождения наследника. Кроме того, он учредил над ним, по сенатскому указу, опеку, как это делается над несовершеннолетними или слабоумными. В'езд в Россию ему был воспрещен.

Но пришлось, все-таки, считаться с некоторыми последствиями совершившегося факта. Нужно было, например, придумать фамилию для той, которая отныне стала законной супругой великого князя Михаила. Брак ее был морганатический, и стать особой императорской фамилии, носить имя Романовых—она не могла; поэтому она приняла титул графини Брасовой, по имени, принадлежавшему великому князю; было даже получено высочайшее согласие на титул графа Брасова для ее сына.

Супруги-изгнанники вели самый приятный образ жизни—то в Париже, то в Лондоне, то в Энгадине и в Канн. Сбылось то, чего желала Наталия Сергеевна.

После объявления войны, им было дозволено вернуться в Россию. Великий князь был назначен командиром казачьей бригады. Он проявил боевое мужество. Но его слабое здоровье скоро расстроилось и ему пришлось оставить полевую службу и получить какие-то неопределенные обязанности по инспекторской части; он жил то в Гатчине, то в Петрограде.

Говорят, что графиня Брасова старается выдвинуть своего супруга в новой роли. Снедаемая честолюбием, ловкая, совершенно беспринципная, она теперь удари-лась в либерализм. Ее салон, хотя и замкнутый, часто раскрывает двери перед левыми депутатами. В придворных кругах ее уже обвиняют в измене царизму, а она очень рада этим слухам, создающим ей определенную репутацию и популярность. Она все больше



---

эмансипируется; она говорит вещи, за которые другой отведал бы лет двадцать Сибирю...

*Воскресенье, 13 февраля.*

Распутинская клика в синоде ликует в виду растущего расположения императрицы к Штюрмеру и доверия, оказываемого ему Николаем. Митрополит Питирим и архиереи Варнава и Исидор уже чувствуют себя главами церковной иерархии; они говорят о предстоящей радикальной чистке высшего духовенства; это означает изгнание всех игуменов и архимандритов, которые еще не преклонились перед покровским эротоманомистиком, и считают его антихристом. Несколько дней, как по рукам ходят списки расстригаемых и увольняемых, и даже списки намеченных к ссылке в те дальние сибирские монастыри, откуда нет возврата.

Ликуют и в кругах „церковных матушек“ — у графини И... и г-жи Г...

Отставной министр Кривошеин говорил мне вчера с отчаянием и с отвращением: „Делаются и готовятся вещи отвратительные. Никогда не падал синод так низко... Если кто-нибудь хотел бы уничтожить в народе всякое уважение к религии, всякую веру, он лучше не мог бы сделать... Что вскоре останется от православной церкви? Когда царизм, почуяв опасность, захочет на нее опереться, вместо церкви окажется пустое место... Право, я сам порой начинаю верить, что Распутин антихрист“...

*Вторник, 15 февраля.*

Несколько дней тому назад великая княгиня Мария Павловна сообщила мне, что она хотела бы „интимно“



отобедать у меня в посольстве; я просил ее пожаловать сегодня. Я позвал супругов Сазоновых, сэра Джорджа и лэди Джорджину Бьюкенен, генерала Николаева, князя Константина Радзивила, Димитрия Бенкендорфа; были и чины моего посольства.

Согласно здешнему придворному этикету, я поджидаю великую княгиню в вестибюле. Предлагаю ей руку. Пока мы поднимаемся, она мне говорит: „Я рада быть во французском посольстве, т. е. на французской территории. Уже давно я научилась любить Францию. И с той поры во мне живет вера в нее... А теперь у меня к вашей родине не только любовь, но и восторженное уважение“.

После нескольких фраз, обмененных с другими приглашенными, мы направляемся в столовую. Дружеским тоном и опираясь на мою руку, великая княгиня говорит мне вполголоса: „Очень вам благодарна за приглашение таких гостей. В обществе Сазонова, Бьюкенена и вашем я чувствую себя среди лиц, которым могу доверять. А мне так нужны люди, которым я могу доверять!... Я уверена, что проведу прелестный вечер“.

За столом мы касаемся различных современных тем, за исключением политики. Великая княгиня рассказывает мне про свое участие в деле помощи раненых. Тут и госпитали, и санитарные поезда, и убежища для беженцев, и профессиональные школы для слепых и калек и т. д. Она отдается этому делу, вкладывая в него энергию, умение и сердечность. Она мне сообщает проект, исходящий от нее, как президента академии художеств: „Я хотела бы, по окончании войны, устроить в Париже выставку русского искусства. В наших церквях множество редких произведе-



ний живописи и ювелирного искусства, о которых и не подозревают. Я могла бы показать вам средневековые иконы, столь же прекрасные и трогательные, как фрески Джотто. На этой выставке были бы и художественные работы наших крестьян, „кустарные вещи“, которые свидетельствуют об оригинальном и глубоком художественном вкусе, присущем русскому народу. Пока я не выступаю с этим проектом; он, к тому же, еще не вполне разработан. Но через некоторое время я пущу эту идею и в оборот. Злые языки, конечно, скажут, что дело затеяно слишком рано; зато это будет доказывать, что я в нашей победе не сомневаюсь“...

После обеда она долго беседует *à part* с Бьюкеноном; потом она подзывает Сазонова, который присаживается около нее.

Сазонов уважает Марию Павловну и симпатизирует ей. Он находит у нее решительность, энергию, ясность мысли; он считает, что ей никогда не представлялось возможности проявить ее качества; нарушения же ею седьмой заповеди он объясняет тем, что ее постоянно оттирали на второй план. Как-то раз Сазонов мне даже сказал: „Вот кому бы быть у нас царицей! Сначала она, пожалуй, была бы посредственна в этой роли, но затем она вошла бы во вкус, освоилась бы с новыми обязанностями и постепенно стала бы совершенствоваться“.

Я наблюдаю издалека за беседой Сазонова с Марией Павловной. Она его слушает с глубоким вниманием, скрашиваемым, на миг, деланной улыбкой. Сазонов, человек нервный и очень искренний в своих словах, не умеет себя сдерживать. По одному блеску его глаз, по сведенным чертам его лица, по постукиванию



пальцами по коленям, я угадываю, что он изливает перед великой княгиней всю горечь, накопившуюся у него на душе.

Место Сазонова занимает лэди Джорджина Бьюкенен; тем временем появляется певица Бриан, у которой очень чистый и приятного тембра сопрано. Она поет нам из Балакирева, Массене, Форэ, Дебюсси. В антрактах идет оживленный разговор вокруг великой княгини.

Подают чай; я подхожу к ее высочеству; под предлогом полюбоваться гобеланами, она просит провести ее по залам посольства. Она останавливается перед Торжеством Мардохея, бесподобным творением Труа.

— Сядемте здесь, — печально говорит она мне, — все, что мне сейчас говорил Сазонов, ужасно — императрица сумасшедшая, а государь слеп; ни он, ни она не видят, не хотят видеть, куда их влекут.

— Но разве нет способа открыть им глаза?

— Никакого способа нет.

— А через вдовствующую императрицу?

— Два битых часа я на-днях провела с Марией Федоровной. И мы только изливали друг другу наши горести.

— Отчего не поговорит она с государем?

— Дело не за решимостью и желанием с ее стороны. Но лучше ей не обращаться к нему... Она слишком искренна и откровенна. Как только она принимается увещавать сына, она сразу раздражается. Она ему иногда говорит как раз то, что ему не следовало бы говорить; она его оскорбляет; она его унижает. Тогда он становится на дыбы; он напоминает матери, что он император. И оба расстаются поссорившимися.

— А Распутин все на верху величия?



— Более, чем когда-либо.

— Думаете ли вы, чтобы Антанте что-нибудь грозило?

— Ничего не грозит. Я ручаюсь за государя— он всегда останется верен Антанте. Но я боюсь, что на нас надвигаются серьезные внутренние осложнения. И это естественно отзовется на нашей боевой энергии.

— Другими словами, Россия, не снимая определенно своей подписи, не исполнит, однако, всех своих обязательств перед союзниками. Если она поступит так, то на какие же выгоды от этой войны может она рассчитывать? Условия мира, ведь, будут естественно зависеть от результатов войны. Если русская армия не будет напрягаться до конца с величайшей энергией, то прахом пойдут все громадные жертвы, которые в течение двадцати месяцев приносит русский народ. Не видать тогда России Константинополя; она, кроме того, утратит и Польшу, и другие земли.

— Об этом мне Сазонов только что говорил.

— Каково, по вашему впечатлению, его настроение?

— По моему, он опечален, очень раздражен тем противодействием, которое ему оказывают некоторые его коллеги. Но, слава Богу, я не заметила в нем никакого упадка духа. Он, напротив, проникнут энергией и решимостью.

— Он человек высокой души и благороднейший.

— В свою очередь, он, могу вас уверить, расположен очень дружественно к Бьюкенену и к вам. Ему так хорошо работать с вами обоими... Но, милейший посол, уже поздно,—пойду, прощусь с вашими гостями.



---

После прощаний, я подаю ей руку, чтобы проводить ее до выхода. Она замедляет шаг, чтобы сказать мне:

— Мы, очевидно, вступаем теперь в неблагоприятную и даже опасную полосу, наступление которой я давно предчувствовала. Мое влияние невелико; по многим причинам, я держусь очень в стороне. Но я вижу не мало лиц, из которых одни знают, как нужно себя заставить слушать, а другие и умеют этого достигать. В меру моих сил, я буду вам всячески содействовать. Расчитывайте же на меня.

— Искренне благодарю ваше императорское высочество.

*Среда, 16 февраля.*

Среди многих проблем, ставящихся в области внутренней политики перед русскими государственными людьми, нет вопросов, более срочных, более сложных и важных, чем вопросы аграрный и рабочий. Я говорил о них, за эти последние дни, с людьми, сведущими в них и принадлежащими к разным лагерям: с бывшим министром земледелия Кривошеиным, с Коковцовым, с крупным землевладельцем гр. Алексеем Бобринским, с Родзянко, с крупным металлическим заводчиком и финансистом Путиловым, с кадетским депутатом Шингаревым и с другими. Вот основные выводы, которые получились у меня в результате этих бесед.

Аграрная реформа, возвещенная известным указом 22 (9) ноября 1906 г., довольно удачно наметила путь ликвидации старого земельного строя, вред которого становился с каждым днем все более вопиющим. Творец этой реформы, Столыпин, видел в мирском укладе основную причину физического и морального



убожества и невежества, в которых живет русский крестьянин. Нельзя себе, действительно, представить порядка пользования землей и ее обработки, более противного агрономии и менее поощряющего индивидуальную энергию и инициативу. Столыпинская программа ставила себе целью отмену общинного пользования землей, закрепление земли за бывшими общинниками и создание, таким путем, чего-то вроде крестьянского третьего сословия. Раньше сторонники самодержавия смотрели на мирское землепользование, как на непреложный догмат, как на оплот против революции, как на одного из китов, на которых держится социальный строй. Аграрные волнения 1905 г. рассеяли эту иллюзию. Но начало общинного пользования, на котором зиждется мирское устройство, породило у крестьян, в течение столетий, твердое убеждение, что земля ничья или, вернее, что бог наделяет ею тех, кто ее обрабатывает. Кроме того, уравнительное начало при периодических переделах вызвало у крестьян сознание недостаточности размеров их наделов; отсюда вывод, что государство обязано прирезать им земли путем принудительного выкупа помещичьих угодий, и путем бесплатного отвода церковных и казенных земель. Можно себе представить, что могут разыгрывать на этой струнке вожди аграрного социализма—Черновы, Ленины, Рожковы, Керенские! Я смотрю так: если ход событий и исход войны позволят продолжать осуществлять земельную реформу 1906 г. еще в продолжение лет десяти; если финансы страны дадут возможность широко развить операции крестьянского банка, являющегося посредником между бариним-продавцем и крестьянином-покупателем; если, наконец, при помощи некоторых фискальных мер, крупные собственники бу-



дуг поощряться к добровольной продаже части их земель, — если все это окажется возможным, то, в таком случае, крупная и средняя собственность будут спасены. В противном случае социалистические утопии все больше будут овладевать упрощенным крестьянским мышлением. Много уже придумано способов создания крестьянского благополучия. У фракции трудовиков имеется такой проект: образовать из всех земель национальный земельный фонд, подлежащий распределению между всеми земледельцами, живущими трудами рук своих. Несколько цифр достаточно, чтобы оценить практическое значение этого плана. Для одной Европейской России, национальный фонд составил бы около 200 миллионов десятин; распределять этот фонд пришлось бы приблизительно между 25 миллионами домохозяев; понадобился бы постоянный штат из 300.000 землемеров для составления земельного кадастра и размежевания участков; геодезические работы потребовали бы не менее 15 лет времени, так как снежный покров и распутица прекращают в России всякие измерительные работы в течение 5—6 месяцев в году; за 15-летний период, в силу естественного прироста населения, число домохозяев достигло бы около 30 миллионов; но тогда пришлось бы совершенно наново переделывать первоначальные основания для распределения земли. Такой коренной передел всех земель не может привести ни к чему другому, как к невыразимой путанице, к грабежам, разрушениям и анархии.

Положение рабочего вопроса не менее острое. Русская промышленность развивалась с необычайной быстротой. Считают, что до 1861 г. в России было всего 4300 заводов и фабрик, а в 1900 г. их было уже 15.000; теперь их более 25.000. Положение рабочих



материальное и моральное очень отсталое. Во-первых, почти все они совершенно неграмотны, что отзывается на производительности их труда. Затем число крестьян, уходящих в города в поисках работы, растет с каждым днем. Отсюда низкий уровень заработной платы, которой обыкновенно не хватает на покрытие прожиточного минимума. Распространение машин, с другой стороны, позволяет заменять мужской труд трудом женщин и детей. Отсюда распад семейной жизни, так как все члены семьи заняты вне дома. Это и само по себе тяжелое положение еще ухудшается ошибками и несправедливостями, постоянно допускаемыми царской бюрократией по отношению к рабочим. Русское рабочее законодательство принципом и идеалом ставит государственную охрану рабочего. А в действительности получается одно полицейское вмешательство. Представители царской власти считают себя естественными и непогрешимыми судьями в случаях конфликтов между капиталом и трудом. Приемы их при этом таковы, что в рабочей среде накапливаются открытое раздражение, постоянное стремление к бегству и революционное и разрушительное настроение. Ни в какой другой стране нет столь частых и столь бурно протекающих забастовок. Специфической для России является провокаторская роль полиции при забастовках; это едва ли не самое позорное пятно, лежащее на нынешнем режиме. Эта провокация применяется давно. Но особенно пышно расцвела она только за последний десяток лет, со времени Плеве, убитого в 1904 г. Гнусные охранные отделения содержат в промышленных центрах многочисленных агентов, не для наблюдения за революционными элементами, а для того, чтобы их держать в руках, их поддерживать и позволять им выступать, когда охрана



считает это нужным. Стоит „конституционалистам демократам“ возвысить голос в обществе или в Гос. Думе, или царю проявить какой-нибудь робкий уклон в сторону либерализма, как немедленно где-нибудь происходит бурная забастовка. На небе появляется призрак революции, источающей кровавые лучи, как вестник дня страшного суда. Но казаки тут как тут. Порядок восстановлен. Еще раз охранное отделение спасло самодержавие и общество... чтобы, в конце концов, их бесповоротно погубить...

*Пятница, 18 февраля.*

Сазонов, вид у которого печальный и лицо которого отражает невралгические страдания, дает мне понять, как он удручен тем духом реакции и мелкой придирчивости, которым с переходом власти к Штюрмеру, проникнута вся внутренняя политика. Желая получить более точные указания, я его спрашиваю:

— Вы так преданы царскому режиму—как же, по вашему мнению, может император согласовать свое самодержавие с принципами конституционной монархии, сторонником которой вы являетесь?

Он с жаром объясняет:

— Но сам же император установил пределы своего самодержавия и ограничил его, издав в 1906 г. основные законы.. Во-первых, надо разобраться в сущности титула самодержца. Иоанн III, в конце XV века, принял титул царя-самодержца для того, чтобы показать, что великое княжество московское отныне стало суверенным и независимым, свободным от платежа дани татарскому хану... Впоследствии титул самодержавного царя включил в себя идею абсолютного неограниченного полновластия, полного и бесконтрольного деспо-



тизма. Так смотрели на свою власть Петр Великий и Николай I; такой взгляд, к сожалению, внушили благороднейшему Александру III Катков и Победоносцев; этот взгляд перешел по наследству и к Николаю II. Отражение этого учения мы видим в 4 ст. основных законов, гласящей, что „император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его верховной власти... сам бог позволяет“. Но статья 7 смягчает это положение указанием, что император осуществляет законодательную власть в согласии с Гос. Советом и с Гос. Думой“. Вы видите последствия этих изменений: русский народ сам стал одним из органов, управляющих государством, а царский режим, оставаясь при божественном своем происхождении, приблизился к правовому строю современных государств.

— Если я правильно понимаю вашу мысль, то выходит так, что основные законы сохранили за императором титул самодержца лишь для того, чтобы соблюсти престиж верховной власти и сохранить преемственную связь с прошлым?

— Да, приблизительно так... Я говорю: приблизительно так, потому что я очень далек от того, чтобы видеть в титуле самодержца только историческое переживание, только канцелярское выражение. Я полагаю, что в России, в виду наших традиций, в виду нашего уровня культуры и свойств национального характера, верховная власть должна быть очень твердой; я готов предоставить ей все способы подчинения и принуждения. Но я хотел бы, чтобы над властью был бы контроль и, что еще важнее, чтобы она была просвещенной. Между тем, теперь над нею нет контроля; а кто пользуется правом монопольного ее просвещения, вы сами хорошо знаете.



---

Помолчав немного, я снова говорю:

— Раз мы уже коснулись столь деликатной темы, позвольте вам задать один дружеский вопрос.

— Ах! боюсь, что я догадываюсь о том, что вы хотите мне сказать... Но делать нечего! Я вас слушаю.

— Нельзя ли мне оказать осторожно воздействие в духе ваших идей?

— Бога ради, не делайте этого! Вам особенно нельзя выступать, вам, представителю республики!... Даже на меня косятся—я-де олицетворяю союз с западными демократиями! В какое же положение попали бы вы, если был бы малейший предлог обвинять вас во вмешательстве в нашу внутреннюю политику!...

*Воскресенье, 20 февраля.*

И национальный, и частный характер русских глубоко пронизан непостоянством. Война, которая держит нервы русских людей в постоянном напряжении, еще более усилила это свойство; мне постоянно приходится считаться с этой особенностью.

Русские живут исключительно впечатлениями и мыслями текущего момента. То, что они вчера чувствовали и думали, сегодня для них более не существует. Их настоящее настроение порой уничтожает в них самое воспоминание об их прежних взглядах.

Разумеется, эволюция является общим законом как моральной, так и органической жизни, и мы перестаем изменяться только тогда, когда умираем. Но у здоровых рас изменения всегда отмечены прогрессом; противоречивые тенденции более или менее сглаживаются; нет резкого внутреннего разлада; самые быстрые и полные изменения связаны с переходными периодами, с возвратами к старому, с постепенными переходами.



---

В России чашка весов не колеблется—она сразу получает решительное движение. Все разом рушится, все—образы, помыслы, страсти, идеи, верования, все звание. Для большинства русских верхом счастья является постоянная смена декораций.

Эти мысли пришли мне на днях в голову, когда я смотрел в Мариинском театре поэтический балет Чайковского „Спящая красавица“. Весь театр расцвел радостью, когда на сцене пруд, покрытый туманом, по которому плывет очарованная ладья, внезапно превращается в сияющий огнями дворец.

И я сказал себе, что и русская ладья тоже несется по водам, над которыми навис туман. Но я боюсь, что, когда произойдет смена декораций, мы увидим перед собой что-то совсем другое, только не залитый огнями дворец..

*Понедельник, 21 февраля.*

Вчера великий князь Николай Николаевич вступил в Эрзерум, встреченный там ген. Юденичем.

В Эрзеруме турки потеряли 40.000 убитых и раненых, 13.000 пленных, 325 пушек и 9 знамен.

Русские теперь хозяева Армении. В Персии, на юг от Курдистана, предстоящее занятие Керманшаха открывает перед ними дорогу на Багдад.

*Вторник, 22 февраля.*

Гос. Дума сегодня возобновила свои занятия. Сессия Думы столько раз откладывалась Горемыкиным, что создалось опасное общее недовольство.

Государь это понял и присущий ему мудрый инстинкт, заменяющий у него политическое чутье, побу-



---

дил его на удачный жест. Он лично явился в Таврический дворец на открытие сессии.

Это решение он принял вчера и держал втайне до последней минуты. Только в 12 часов дня сегодня было по телефону передано приглашение союзным послам пожаловать в Таврический дворец ровно в два часа, без указания цели приглашения.

Государь посетил Думу впервые после установления в России представительного строя. Раньше депутаты являлись на поклон к царю в Зимний дворец.

Приезжаю в Думу в одно время с придворными экипажами.

В обширной зале с колоннами, где некогда Потемкин восхищал Екатерину своими великолепными празднествами, поставлен аналой для молебна. Депутаты стоят кругом тесными рядами. Публика, покинувшая трибуны, теснится на лестнице, выходящей в колонный зал.

Император подходит к аналою; начинается служба; дивные песнопения, то широкие и могучие, то нежные и эфирные, выражающие лучше всяких слов безбрежные устремления православной мистики и славянской чувствительности.

Большой под'ем настроения в зале. Реакционеры, поборники неограниченного самодержавия, обмениваются взглядами, полными раздражения или отчаяния—как будто царь, избранник и помазанник божий, совершает святотатство. Левые, напротив, исполнены бурной ликующей радости. У многих слезы на глазах. Сазонов, стоящий возле меня, усердно молится; он сделал много для сегодняшнего дня. Военный министр, ген. Поливанов, человек либерального направления, говорит мне вполголоса:



---

— Сознаете ли вы все значение, всю красоту этого зрелища?... Это минута громадной важности для России; начинается новая эра в нашей истории.

На два шага впереди меня стоит император. За ним его брат, великий князь Михаил Александрович; дальше стоят министр двора, граф Фредерикс, дежурный флигель-адъютант, полк. Свечин, дворцовый комендант, ген. Воейков.

Император слушает службу со свойственным ему умилением. Он страшно бледен. Рот его ежеминутно подергивается, как будто он делает усилия, чтобы проглотить. Более десяти раз трогает он правой рукой ворот—это его обычный тик; левая рука, в которой перчатка и фуражка, то и дело сжимается. Видно, что он сильно взволнован. Когда 10 мая (27 апреля) 1906 г. он открывал сессию первой Думы, то думали, что он лишится чувств—такое было у него бледное и встревоженное лицо.

Но вот отслужили молебен; духовенство удаляется.

Император произносит речь в духе патриотизма и объединения:

„Я счастлив быть среди вас, среди моего народа, представителями которого вы являетесь. Призываю божье благословение на ваши труды. Твердо верю, что вы вложите в ваш труд, за который вы ответственны перед родиной и мною, весь ваш опыт, все ваше знание местных условий и всю вашу любовь к стране; руководствуясь единой этой любовью, которая да будет вашей путеводной звездой. От всего сердца желаю Гос. Думе благотворной работы и полного успеха“.

Тяжело смотреть на Николая, во время произнесения этой речи. Слова с трудом вылетают из его сдавленного горла. Он останавливается, запинаясь после



каждого слова. Левая рука лихорадочно дрожит; правая судорожно уцепилась за пояс. Последнюю фразу он произносит, совсем задыхаясь.

Громовое „ура“ раздается в зале. Раскатистым и глубоким басом отвечает Родзянко:

„Ваше величество, мы глубоко тронуты выслушанными нами знаменательными словами. Мы исполнены радостью видеть среди нас нашего царя. В это трудное время вы сегодня утвердили ту связь с вашим народом, которая указывает нам путь к победе. Ура нашему царю! Ура!“.

Все присутствующие громко кричат ура. Молчат одни крайние правые. В течение нескольких минут потемкинский дворец дрожит от возгласов восторга. Император сразу оправился; к нему вернулось его обычное обаяние; он жмет руки; он расточает улыбки. Затем уезжает, пройдя через зал заседаний.

*Среда, 23 февраля.*

Заезжаю, как всегда, около 12 часов к Сазонову. Он в восторге от вчерашнего торжества, отклик которого скажется во всей стране.

— Вот,—говорит он,—здоровая политика. Вот настоящий либерализм. Чем теснее будет контакт между императором и его народом, тем легче сможет император противиться влиянию крайних партий.

Я спрашиваю Сазонова:

— Это вам пришла мысль устроить посещение государем Думы?

— К сожалению, не мне. Инициатор—вы не догадаетесь, кто—это Фредерикс, министр двора.

— Как, Фредерикс, этот консерватор, реакционер, этот живой обломок старины?



— Он самый... Его преданность государю помогла ему понять тот шаг, к которому положение вещей обязывало государя; он поднял этот вопрос перед государем и пред председателем совета министров. Император немедленно согласился; Штюрмер не посмел противоречить; решение было тут же принято. Не скрою от вас, что император опасался сцены со стороны императрицы; он готовился к целому потоку упреков. Она, правда, высказалась против, но без вспышки; она проявила то холодное и сдержанное недовольство, которое у нее является часто самым сильным выражением неодобрения.

*Четверг, 24 февраля.*

Сегодня у меня обедала княгиня П. Присутствовали еще итальянский посол, маркиз Карлотти, и еще человек двадцать, в том числе ген. Н. Врангель, адъютант великого князя Михаила.

Главная тема обеденных разговоров — открытие думской сессии. Княгиня П. очень одобряет посещение государем Думы.

— Я вас не удивлю, — замечает она, — если скажу, что этот либеральный жест не пришелся по вкусу императрице, которая все еще от него не пришла в себя.

— А Распутин?

— „Божий человек“ очень недоволен и предрекает всякие беды.

Ген. Врангель, человек тонкого ума и скептик, придает царскому посещению небольшое значение. Он говорит:

— Поверьте мне, самодержавие всегда останется для его величества непреложным догматом.